Ускользнувший от истории

Из антологии Евгения Евтушенко «Десять веков русской поэзии»

Он ходил по литературе бесшумными шагами. Он был добрый, но чем-то раз и навсегда напуганный. У него не было ни врагов, ни обожателей. Я никогда не слышал, чтобы о нем спорили. Его даже не пародировали. Он совершенно не пробуждал интереса как личность.

И его это вполне устраивало, потому что так было больше шансов выжить.

Не правда ли, несколько странно для поэта, чьи стихи не девальвировались временем, а плавно перетекали из антологии в антологию – вот только, как правило, одни и те же?

Но все, кто любил поэзию, знали наизусть строки Николая Ушакова: «Чем продолжительней молчанье, / тем удивительнее речь»; «Мир незакончен и неточен, – / поставь его на пьедестал / и надавай ему пощечин, / чтоб он из глины мыслью стал»; «И сходят лошади с ума / от легкого прикосновенья». Мой отец декламировал на память «Московскую транжирочку» и «Леди Макбет», смакуя их четкий, упругий ритм и легкие, грациозные рифмы. Это золотой фонд нашей поэзии.

Леди Макбет,

что такое?

Бор идет из-за реки,

дышат листья,

дышит хвоя,

дышат папоротники.

Какое волшебно прерывистое дыхание стиха с игривыми перебежками ударений!

Или:

Зима любви на выручку –

рысак косит,

и – ах! –

московская транжирочка

на легких «голубках» <…>

Французская кондитерша,

скворцам картавя в лад,

приносит,

столик вытерши,

жемчужный шоколад.

И губы в гоголь-моголе,

и говорит сосед:

– Транжирочка,

не много ли? –

И снова

снег

и свет.

Какая блестящая школа стихотворной формы!

Но только у меня это вырвалось, как сразу же вспомнились строки Владимира Соколова: «Нет школ никаких. Только совесть…» Тут мой восторг несколько застопорился. Перелистнул самый полный однотомник Николая Ушакова из «Библиотеки поэта» – и сразу вляпался: «Возьмешь «Комсомольскую правду», / подстелешь… Хоть тряска, хоть гул, / а едешь и тихо и плавно, / и мягче подушки баул» (1952).

Надо же, какой душевный уют в год «дела врачей-отравителей»!

Совесть в литературе есть нравственное свидетельство об эпохе. А это свидетельство у Николая Ушакова весьма размыто. Подлинное свидетельство может получиться лишь при полной исповедальности автора. А сам Ушаков в своих стихах почти не существует. Существуют только его географические перемещения по Советскому Союзу, а о подлинных впечатлениях автора никак нельзя узнать из стихов, написанных на уровне посредственных торопливых очерков. Совсем не чувствуется, что он учился в той же киевской гимназии, что и Михаил Булгаков.

Налицо только зыбкие, почти условные контуры авторской фигуры. А портрет эпохи у серьезного художника всегда начинается с автопортрета. Но здесь его нет. Нетути, как говорится. На всем пространстве 700-страничного тома автор прогуливается в шапке-невидимке.

Неслучайность поэта проверяется уровнем его исповедальности. При отчаянных срывах Сергея Есенина, он покоряет читателя душераздирающей искренностью, и вся его поэзия – это выплевываемое, вместе с ошметками крови, искреннейшее показание на Страшном суде кающегося грешника, которому за саму эту исповедь многое простится. Да и

исповедался он не только за себя, но и за многих других, до сих пор благодарно приходящих на его могилу. Пока жива душа русская, главной силой ее будет распахнутая исповедальность. Находящийся, казалось бы, на противоположном от Есенина полюсе Борис Пастернак оставил, вместе со стихами и непрочитанным, по сути, в России романом «Доктор Живаго», свою исповедь, тоже поднявшуюся до исторического свидетельства. А вот Ушаков не оставил. Тут и проходит водораздел между талантливым поэтом, каким, без сомнения, был Ушакова, и гением национального масштаба.

У Есенина и Пастернака стихи нерасцепляемо связаны как главы наглядной духовной автобиографии, а внутренний мир Ушакова заслонен внешними событиями, к которым он изо всех сил старается не показать своего личного отношения. Мы не видим обнаженной правды его жизни, не знаем, кого он любил, а кого ненавидел, как будто он ни разу не испытал ни любви, ни ненависти. Опять вспоминается Владимир Соколов:

Это страшно – всю жизнь ускользать,

Уходить, убегать от ответа.

Быть единственным –

а написать

Совершенно другого поэта.

Ушаков был технически подготовлен к тому, чтобы стать большим поэтом, и он смог написать несколько первоклассных стихов, но нравственно к миссии большого поэта он готов не был – для исповедальности нужна смелость и по отношению к себе, и по отношению к остальному миру.

Поэт, который запрограммировал себя на закрытость, на нечувствительность, – что может быть неестественней!

Посмотрите, какая пропасть между стихами, которые он писал в 20-х годах, и стихами времен сталинского террора, когда ему, сыну царского офицера-артиллериста, наверняка мерещилось, что и за ним каждую ночь могут прийти.

«Это ночь над горою голой / или в звездах аэродром? / «Вы зачислены в летную школу» – Тазирету пишет нарком» (1939).

«Честь и слава верным долгу этим – / нашим самым скромным часовым» (1941).

«Я из Москвы – я от кремлевских башен, / и Минск и Киев – родина моя. / Врагу высокой правды тем я страшен, / что этой правды знаменосец я» (1946).

И как жаль, что при врожденном таланте Ушаков сам запечатал свою душу, не разрешал ей перестать быть маленькой, перетянул ее натуго, как китаянки перетягивали ступни. Я несколько раз встречался с ним в поездках, на писательских съездах и собраниях, и, как только разговор заходил на острые темы, ему мгновенно становилось некомфортно, он сразу умолкал и, мило улыбаясь, исчезал. Не он один пытался прожить тише воды, ниже травы. Наводнение страха, залившее всю поверхность нашей страны, парализовало многих талантливых людей.

Революция Ушакова не слишком-то вдохновила. Как уныло он писал, явно насилуя перо: «Победа советского водомера над заграничным, одержанная киевским заводом «Физико-химик», становилась «Илиадой» «Пролетарской правды» и всех ее сотрудников». Что он на самом деле думал о насильственной коллективизации, о голодоморе, о нескончаемых арестах вокруг, о Сталине, может быть, знают лишь наиболее близкие ему люди. Даже о Великой Отечественной он не написал ни одного по-настоящему прочувствованного стихотворения. У него случилась атрофия вдохновения. Автор предисловия к упомянутому однотомнику Ушакова, Евгений Адельгейм, пишет: «Ярослав Смеляков как-то сказал, что, если бы его спросили, каким поэтом стал бы Светлов, не будь революции, он, не задумываясь, ответил бы: никаким! То же, очевидно, можно повторить и об Ушакове: революция открыла ему высокую цель жизни и помогла, утвердив себя как личность, найти себя как поэта».

Но если это правда про Светлова, то это неправда про Ушакова. Революции он, может, и хотел бы поверить, но боялся ее больше, чем верил в нее, и это не позволило ему по-настоящему раскрыться.

Будем всё же благодарны и за те несколько шедевров, которые он нам оставил. Но, избегая ответов на вопросы, по-видимому, задаваемые ему собственной совестью, он ускользнул от истории. В ответ история ускользнула от него.

* * *

Был молчалив Сковорода Григорий.
Был грустный опыт у него немал.
Он поделился тайной, гордо горькой,
что мир его ловил и не поймал.

Великий европейский полтавчанин,
умел и отмолчаться он в тиши,
но если говорил, то был отчаян,
как будто кожу он сдирал с души.

Предпочитают многие помяться,
допрежь чем дать уклончивый ответ.
А почему? Да не хотят пойматься.
Страх выдать, что в душе, – вот их секрет.

Во времена террора и тиранства
и страх, и боль о самом дорогом
уходят только вздохами в пространство,
а иногда – и просто матюгом.

Изящное искусство ускользанья
не сохранят легенды и сказанья.
Литература – это не балет,
где красотой оправдан пируэт.

Неужто все мы ныне измельчали?
Порой, чем продолжительней молчанье,
испуганностью скованная речь
в отмалчиванье может перетечь.

Кто у меня? Гость из села Чернухи.
И с чеботов, на слякоть разъярясь,
не сдавшись нашей нравственной разрухе,
счищает он сегодняшнюю грязь.

Духовные границы неразумны.
Нам книжные обложки – братский кров.
Россия с Украиной неразъемны,
как неразъемна смешанная кровь

И мне сегодня истину глаголет
от всех надежд и оскорбленных чувств
прапрадед мой – Сковорода Григорий,
и я тихонько у него учусь.

Не жил я ни по-хлопски, ни по-барски,
меня ловили с лет, когда был мал,
но, словно мяч футбольный, по-вратарски
я шар земной ловил, да и поймал.

Евгений ЕВТУШЕНКО

Фруктовая весна предместий

Разъезд,
товарная,
таможня…
И убегает под откос
за будкой железнодорожной
в дыму весеннем абрикос,
еще не зелен,
только розов.

И здесь,
над выдыхом свистков,
над жарким вздохом паровозов, –
воздушный холод лепестков.

В депо трезвон
и гром починок,
а в решето больших окон
прозрачным золотом тычинок
дымится розовый циклон.

И на извозчичьем дворе
хомут и вожжи на заборе
в густом и нежном серебре,
как утопающие в море.

В депо,
в конюшни
и дома
летит фруктовое цветенье.

И сходят лошади с ума
от легкого прикосновенья.

1926

Вино
Г.В. Шелейховскому

Я знаю,
трудная отрада,
не легкомысленный покой,
густые грозди винограда
давить упорною рукой.

Вино молчит.
А годы лягут
в угрюмом погребе, как дым,
пока сироп горячих ягод
не вспыхнет
жаром золотым.

Виноторговцы – те болтливы,
от них кружится голова.
Но я, писатель терпеливый,
храню, как музыку, слова.

Я научился их звучанье
копить в подвале и беречь.

Чем продолжительней молчанье,
тем удивительнее речь.
1926

Мастерство
Пока владеют формой руки,
пока твой опыт
не иссяк,
на яростном гончарном круге
верти вселенной
так
и сяк.
Мир незакончен
и неточен, –
поставь его на пьедестал
и надавай ему пощечин,
чтоб он из глины

мыслью стал.
1935